

## Эвридика

- Что ты все пишешь?
- Не подходи, пожалуйста.
- Что это?
- Любовное письмо.
- Надеюсь, мне.
- Нет, не тебе.
- Кому же, Сашка?
- Эвридике.
- Эвридике — значит, мне.

Лена, я хочу рассказать тебе эту историю. Она до того ужасна, что не верится, будто она произошла с нами. Ты помнишь Свиридовых? Кстати, ты их не можешь не помнить, ведь с Колькой у тебя еще в школе был роман, а его жена Таня — такая же ученица Паниной, как и ты. Так вот: Таня умерла прошлой ночью.

Не стал бы тебе это рассказывать, не будь Таня моей Эвридикой. Ты была и остаешься моей Эвридикой в жизни, ты была моей первой Эвридикой на сцене, а Таня — предпоследняя, кажется, десятая Эвридика. За пятнадцать лет после твоей смерти я поставил наш балет в разных странах, и везде, как пишут, "он прошел с успехом".

Сижу у окна, слушаю летний, теплый дождь, и чтобы не сойти с ума, говорю с тобой. Именно сейчас мне надо верить до конца, что люблю тебя. Болтался б по городу еще, но Наташа пришла со спектакля, да и я промок до нитки. Тебя больше под дождем, чем в этой комнате, но и здесь ты рядом.

Таня — жена друга Кольки, того самого, к которому ты когда-то была равнодушна. Она очень много говорила, что любит меня, и я, возможно, поверил, хоть и не признаюсь тебе в этом. Конечно, Леночка, я говорил, что люблю ее, но я произносил это вслед за ней, моей Эвридикой. Сколько ни было балетуний, танцующих мою Эвридику, я всех их немножко соблазнял — и почему-то только сейчас, накануне твоего дня рождения, вижу это с обескураживающей ясностью. Я всегда говорю о любви, потому что это часть работы, я люблю по работе. А вернее сказать, из острого желания самому приблизиться к образу и помочь в этом нелегком деле исполнительнице. Так ловлю твои отражения, так создаю тебя, мою единственную возлюбленную, так храню нашу любовь.

Тут ни капли непристойности, честное слово! Непристойно только то, что исполнительница после репетиции со мной приезжает домой и умирает во сне, я надеюсь, в объятиях мужа. Согласись, в этом кошмаре есть что-то художественное и уж до конца наше. Танечка хотела простого, женского счастья, а я хотел работы, хочу женственной, огромной, сияющей красоты. Это я нашел в тебе и не отдам никому.

Как много тебя в этой ночи! Я знаю, ты есть, ты не сгорела заживо в новеньком авто, купленном на гастрольные деньги. Ты помнишь нашу любовь. Она бессмертна. Ты рядом со мной. Со всеми твоими изменами, с твоим странным желанием любить меня только немножко; чтобы любовь не помешала работе, чтобы больше любить на сцене. Ты долго любила твоих партнеров, этот взвод Орфеев, и вдруг за год до нелепой смерти решила, что любишь меня. Ты влюбилась в меня, когда изверилась в Орфеях! Ты захотела меня любить — и вдруг умерла с этим желанием любви.

Хватит об этом. Лучше расскажу, как все было с Таней.

- Может, мы поговорим?
- Нет, я должен поработать. Я тебе не рассказывал? Я прописываю все человеческие отношения балета на бумаге. Чтобы их лучше понять.
- Так у тебя еще и литературные способности? Уж не Орфей ли ты, Сашка? Стихи не пишешь?
- Да что ты, Наташечка, что ты!
- Позавчера она позвонила очень рано.
- Сашка, ты не спишь?
- Семь утра! Сплю, конечно. Что ты звонишь? Коля прилетел?
- Я люблю тебя.
- И я люблю тебя, Танечка, и я. Он звонил тебе из Японии?
- Да ну его! Муж объелся груш. Я только что проснулась с чувством, будто мне пятьдесят. Представляешь? Я уже старенькая, а все живу, и за чем живу, не знаю.
- Ты мен вчера напугала.
- Я?!
- Да. Я заметил в твоей сумке шприц.
- Извини, забыла спрятать.
- Ты не наркоманка, а?

Видимо, в театре все знали об этой ее слабости, иначе, чем объяснить, что ее утверждение на роль Эвридики прошло так трудно? Теперь, когда мы репетировали два месяца, я и сам стал замечать в ней странности. Однажды месяц назад мне пришлось прервать репетицию; ей стало плохо.

Она попросила ее поцеловать и оставить одну. Когда я вернулся, она была в форме.

— Я-то?

— Ты-то, Танечка, ты-то!

— Зачем тебе это знать? Я же тебя не спрашиваю, почему ты соблазняешь меня на каждой репетиции. Раз мы работаем вместе, мы больше, чем родственники. Ты терпишь мои слабости, я твои. Я тебе позвонила, потому что знаю: ты не спишь. Ты не спишь, потому что ты любишь меня.

— Люблю?

— Да. Вчера ты опять сказал это, а я поверила.

— Давай спокойней. Пожалуйста. Мне на самом деле хорошо с тобой. Особенно хорошо, если идет репетиция. Когда у тебя получается, я люблю тебя. А у тебя уже хорошо получается. Ты выдаешь отдельные красивые куски, а целого пока нет. Ты как, в форме сегодня?

— Ты почему никогда по телефону не говоришь о любви? Мне обидно.

— Я не умею.

— А ты считай эти разговоры частью репетиции — и у тебя получится. Слушай, Сашка, очень тебя прошу: дай в долг пару сотен.

— Муж прилетит и даст.

— Муж — жмот. Предпочитаю занять у любовника.

— Любовником жены моего друга я быть не хочу, и ты это знаешь. Кроме того, Татьяна Васильевна, я был за свой счет на фестивале в Канаде и поиздержался.

— Фестивали был в мае, а сейчас пятнадцатое июля. Сашка, не жмотничай. Я на самом деле немножко колюсь, но это никому и ничему не мешает. Твоей жене это очень даже шло.

— То ты все пинала своего мужа, а вот очередь дошла и до моей жены.

— Между прочим, она умерла от передозировки.

— Она?! Ты совсем с катушек слетела. Ты говоришь ужасные вещи за день до ее дня рождения!

— Сколько б ей стукнуло?

— Пятьдесят.

— Какое совпадение, Сашик! И мне будто пятьдесят. Вчера закатилась на чей-то день рожденья; кого-то из девчонок. И сегодня с мужем приглашена к тете на день рожденья!

— Что с тобой вчера случилось? Грохнулась посреди зала. Таня, мне ведь страшно за тебя. Как я могу верить в исполнительницу, если с ней такое случается? А если ты рухнешь перед зрительным залом?

— Прости меня, Сашик.

— Хорошо, забудем. Ты и обычно после первых двух часов репетиций как мертвая, а передохнешь с часок, и тебя опять гонять можно. Значит, вчера я опять говорил о любви? Очень интересно. Что же? Мне самому любопытно.

— Много чего. Ты прав; эти укольчики до добра не доведут. Они воодушевляют, но я сама не знаю, как долго можно на этом ехать. Мне что-то страшно. Вот и звоню тебе. Уж сегодня ты меня, как обычно, в хвост и в гриву не гоняй.

— Хорошо. Появится Коля — попроси его в двенадцать прийти в "наш" ресторан. Он знает, где это. Он в курсе твоей болезни?

— Я это не считаю болезнью. Наоборот! Я б не выдержала нагрузок без этого.

— Согласен, как в спорте. Ты что, всегда наркотилась?

— С тех пор, как попала в этот чертов театр. Саша, скажи мне, что любишь. Я поверю. Ты ведь говорил это вчера.

— Театр тебе дал все! Ты не боишься вылететь из профессии? Что ты будешь вне сцены?

— Я вылечу из жизни. Не только из профессии.

— Я люблю тебя, но балет должен выйти вовремя.

Вот такие, Леночка, тары-бары-растабары. Я не описываю всех низостей этих самых "творческих" отношений. Ты сама видишь, куда заводят репетиции, когда кто-то не хочет репетировать. Для меня творческий процесс, то, что я делаю на репетиции, — главное, ибо создаю тебя. Проработать весь день — наслаждение, и если кто-то этой радости не разделяет, то тут и начинаются шуры-муры. Она меня любит, но я-то раздавлен этой нетворческой любовью. Она Эвридика, да я-то не Орфей. Да что все эти балетные твари, все эти сумрачные, порывистые, острореберные бабы рядом с тобой, Леночка! Елена Павловна Пинская.

Вот они, издержки профессии. Меня осаждают живые Эвридики. Я их создаю на сцене, а они запросто выходят в жизнь — и для чего?! Чтобы любить меня. Чтобы создавать из меня Орфея. А про ребрышки я серьезно: на старых фото легко разглядеть, что до тридцатых годов на сценах властвовали упитанные особы, а спортивная порода победила позже. Вот оно, знамение времени: натиск худяшек.

— Наташа, ты мне даже не рассказала, как прошло сегодня? Как оттанцевала?

— Ничего. Ну что? Уже час ночи. Уже прихожу в себя. Ты сегодня в миноре, да? Думаешь о похоронах?

— Да.

— Ты можешь мне показать, что ты там написал?

— Не сейчас. Пока что это исповедь. Слишком горячо! Завтра эта лава остынет, просто литературой станет, просто литературой, послезавтра — просто болтовней. Тогда и прочтешь.

— А сейчас?

— А сейчас это работа. И это — больно.

— Я вижу! Ты даже осунулся. Брось ты эту писанину, полежи со мной.

— Не сейчас, Наташа. Боль отпустит — и приду.

Что же дальше? Дальше появился муж Колька. Что произошло между ними? Давай подумаем, Лена. Вот он приезжает. У Свиридовых, если ты помнишь, три замка. Колька-то всегда рвался в богатенькие, но его жена все чаще впадала в депрессии — и от мечты о достойной жизни только и осталось, что эта обшарпанная, слишком плотно запертая дверь. Он вошел как-то боком, будто и не к себе домой, и неуверенно крикнул:

— Танька, привет! Где ты?

— Что застрял в коридоре? Проходи. Лежу. Так устала вчера, что лень хвостом пошевелить. Как гастроли? Как японки? Выглядишь хорошо.

— Зато на тебе лица нет! — ахнул он.

Он быстро сбросил легкий плащ и, почему-то злясь, расхаживал по комнате. Наконец ловким движением раздвинул книги на стеллаже и достал шприц:

— Опять за старое, да?

Он спросил сухо и иронично: именно такой тон с некоторых пор установился в их отношениях. Заглянул в холодильник.

— Приготовила б пельмени ради мужа. Выпьем за встречу?

— Буду я возиться. Лопай макароны. На пельмени тебя Пинский приглашает. В полдень в "ваш" ресторан.

— Саша звонил? Это хорошо.

— Я заняла у Сергеева триста рублей.

— С ума сошла! Я тебе на две недели тыщу оставлял. Все прожрала, что ли? Опять колешься, идиотка.

— Хватит на меня орать.

— Ты что, не понимаешь, что Сергеев против меня? Худсовет или еще что, он мне прямо высказывает все, что обо мне думает. Ты ведь знала это.

— Если будешь меня очень критиковать, не смогу репетировать, — сухо ответила Таня.

— Ты забыла, дура, с каким трудом я протаскивал тебя на эту роль! До пенсии не дотянешь. О чем ты думаешь?

— О вечности и смерти, — совершенно серьезно сказала она.

— Загибаться собралась? Тебе нет еще и тридцати. А вообще, мысли неплохие. Это тебя Сашка накручивает? Я не могу тебя спасти бесконечно. Неужели так трудно это понять, глупая баба? Я ведь не господь бог.

Уверен, Лена, разговор был вроде этого. Выписал только то, что вижу точно, что легко танцуется; балет именно об этом. Коля боится за нее, зная ее слабость; Таня понимает, что приближается что-то ужасное, но ее слабость уже сильнее ее. Помню, и в нашей семье на наших глазах рос такой же ужас, смягчаемый разве моей любовью. Теперь начинаю понимать произошедшее с нами.

— Я тебе завтра все объясню. У меня уже идеи в ногах, но сейчас просто нет сил показать.

— Хорошо. Ты, никак, варил супы из пакета?

— Да.

— В ковшичке?

— Да.

— Признавайся, кто тебе его подарил.

— Да никто. Я купил его еще десять лет назад, в том самом промтоварном магазине, где теперь наш ресторан.

— Ваш?

— Да. Я и Колька много лет сидим там подолгу. Он тихий и недорогой.

Еще на входе в ресторан он старательно улыбался сквозь стекло двери. Я тоже со страхом чувствовал, что теряю друга, что мы уже предали нашу двадцатилетнюю дружбу.

— Садись. Как все прошло?

— Хорошо. В двухтысячном будешь ставить свою "Эвридику" в Японии. Здорово, да?

— Спасибо. Это будет моя первая азиатская Эвридика. Кто будет танцевать?

— Я забыл ее имя. Накимура, кажется. Я привез пленки с ее балетами, посмотришь. Так что радуйся, Сашка. Как у тебя репетиции? В сентябре эту Эвридику придется сдавать худсовету.

Я решил спросить прямо:

— Ты, конечно, не знал, что твоя жена колется?

— Сашка, зачем ты? — он явно обиделся. — Так прямо!

— Я боюсь, мы не выпустим балет вовремя. Ей вчера стало плохо.

Прямо на репетиции.

— Эти срывы у нее постоянно много лет. Она и колется, чтобы их

сгладить. Представь мое положение: я открыл это уже после свадьбы, после Танькиных неудачных родов. За ней надо присматривать, как за ребенком. Оставил ее на три недели — и опять все заново. Не отказываться же от гастролей! Переговоры о твоей японской Эвридике я проводил в одиночку на свой страх и риск.

— Спасибо. Но что касается Таньки, я в шоке.

— Будь терпимей, Саша. Твою Елену Павловну тоже вытягивали из таких провалов.

— Я обижусь. Что за фантазии!

— Какие там фантазии! Она приходила колоться ко мне в администраторскую, а то б и до премьеры не дотянула. Не удивляйся! Я и Лена всегда дружили. Сейчас репетируй Эвридику и с Симоновой.

— С Наташей Симоновой?

— Да, с ней. Я уже договорился с ней на гастролях. Дублерша не помешает.

— Неужели я так мало знаю женщин?! У тебя был роман с Леной?

— Да. Еще в училище. В хореографическом я был ее постоянным партнером. Вот что! Раз у Елены Павловны юбилей, я предлагаю осенью провести вечер ее памяти.

— Она на самом деле была наркоманкой?

— Да, Сашечка, да! Я поморщился: как не к месту была эта фамильярность!

— Ты был всегда слишком строг с дамами. Понятно: ты ведь ходил в звездах!

— Это каких еще "звездах"? — рассердился я.

— В восходящих. Ну, то, что звезда все же не взошла — это другое дело. Но у тебя не было этой прозы: боли в ногах, уколов, перегрузок.

— Коля, у всех своя проза. Ее еще никто не избежал. И у тебя, и у наших жен, и у меня. Но я всегда считал нас четверых друзьями. Поэтому мне неприятна эта болтовня о жене. И особенно после ее смерти.

— Вот и поговори с тобой!

— Колька, ты мне скажешь, что было на самом деле?

— Сказать или нет?

— Сказать.

— Твоя жена умерла от передозировки.

— Я не верю.

— Не хочешь, не верь. Мы договорились об ее юбилейном вечере? Это важно и для тебя, ведь в театре уверены, вы ладили плохо, и ты — даже отчасти причина ее смерти.

— Сволочи! Что вам еще взбрдет в башку?

— Сашик, не будем об этом, раз это тебе неприятно. Идет официант. Что возьмешь? Я пельмени.

— Две пельменей, — бросил я официанту и снова пустился допытываться о тебе: — Значит, Леночка многим нравилась?

— Да. В отличие от тебя. Ну что? Вечер Елены Павловны Пинской. Сделаем большое, на весь задник фото. У твоей жены особенное, тонкое и строгое лицо. Она понравится всем.

— Это мое право, Коля, говорить о ней, как о живой. У тебя такого права нет.

— Почему ты меня лишаешь столь многого? И я праздную ее пятьдесят лет, она и для меня навсегда останется Эвридикой. И не обижайся! Ты должен согласиться, что не понимаешь женщин. Но ты талантлив, Сашка! Я тебе говорю: ты с головой! Это удивительно, как ты сумел выйти из ее тени, сделать себе имя в новой, уже всемирной толпе. В тебе столько достоинств! Только великодушия маловато.

— Великодушия? — растерянно переспросил я. Мы уже ели пельмени, а я живо себе представил, как ты и Колька в пятнадцать лет целуетесь на лестнице.

— Так Лена умерла от передозировки?

— Кончай это самоедство, Сашка! Живи будущим, а не прошлым. Я тебе, дураку, еще подарок заготовил: будешь "Жизель" ставить. Сразу после этой Эвридики.

— Да ты что! — я вмиг расцвел. — Колька, что ж ты сразу-то не сказал? Кто это решил? Я давно хотел поставить не свое, личное, а что-то классическое, по-настоящему известное. Сделать своим что-то чужое, расхожее — да я мечтаю об этом! А кто будет танцевать? Бабы передерутся.

— Жизельки будет сразу три: моя Танька, Степанова и Симонова. Ты что, очень боишься за мою жену?

— А как ты думаешь! Ей не потянуть и Эвридику, и Жизель.

— Да нет же, Сашка! Если у нее Эвридика не идет, давай снимем ее потихоньку — и готовь с ней Жизельку.

— Кто справится с такой работой до осени?!

— Наташка.

— Голова кружится!

— Вот-вот. Наконец-то, от женщин и у тебя голова закружилась.

— От работы она кружится больше.

— Ишь как. А будь ты на моем месте, чтоб случилось с твоей головенкой?

— Куда мне! У тебя голова исполнительного директора. Это, знаешь ли, высший пилотаж.

— Вот именно. Мы не Мариинка, но и мы на плаву. Думаешь, это так легко: частный балет в России? Кто тебя раскручивает, а? — грозно спросил он.

— Ты, Коленька, ты!

— Везде твои Эвридики: в Бельгии один спектакль, во Франции два, в Испании пять.

— В Германии два.

— Вот! Везде наследил. Ты наша звезда и знай вкальвай.

Мы еще долго говорили, но страх за Таню заглушал все чувства. Похоже, более мы не слышали друг друга. Возможно, не услышим никогда.

— Так кто я тебе: Эвридика или Жизель?

— Пока не знаю, — рассмеялся я. — До премьеры "Эвридики" — Эвридика, а там посмотрим. На самом деле, я не только люблю мой балет "Эвридика", но я и устал от него. Надоедает понимать себя в том, что сам же и создаешь. В объятиях Жизели отдохну от страсти Эвридики. Не передать, как хорошо, что Жизель будешь танцевать именно ты.

— Почему, Саша?

— Догадайся.

— Не могу.

— Обними — и догадаешься.

— Вот.

— Я люблю тебя.

Что же произошло в последующие три часа? Думаю, у них была ужасная сцена по поводу денег. Меня совершенно раздергала репетиция с кордебалетом. Я ничего не имею против этих пяти женщин, попавших под горячую руку, — и все же я гонял их немилосердно. Я вас, клячи! В детстве видел, как мой дедушка сзади охаживал мою бабушку вожжами — и вся репетиция прошла в духе этой подсмотренной сцены. Для себя еще раз решил, что с этим бабьем надо держаться поосторожнее.

Сижу себе в кабинете — и вдруг заявляется Танька в самом тигристом состоянии. Не в четыре, как надо, а в пять и без стука.

— Вставай, дуралей, — командует она. — Прошвырнемся по Питеру. Пойдешь со мною в зоомагазин.

— По-твоему, это смешно. Ты опоздала на репетицию.

— Зачем ты все обсуждаешь с моим мужем, скотина? Он довел меня до визга. Я не могу работать. Вот и хочу купить змею. Одна, мой муж,

у меня уже есть. Куплю еще одну. Кроме шуток, у моей канадской приятельницы удав Петя — Питер — живет прямо дома — и муж ее за это уважает. Ты идешь?

— Пойдем. Я тоже не в духе, — сдался я.

— Почему ты репетируешь с таким напряжением? — спросил я уже на улице. — Надо все делать плавно во всем, что касается призвания. Дыхания должно хватить на всю жизнь. Тебе жить — сто лет. Разве не так? А вообще, — мои нотации мне уже поднадоели, — я благодарен тебе за эту прогулку. Мы идем по нашему красивому городу, а Лена вместе с нами.

— Ты все о ней! Мне надо умереть, чтоб тебе понравиться! Так я умру! Сколько можно служить этому призраку, этой странной нимфе? Ты взял за правило сначала убивать женщин, а потом их любить. За что ты любишь Лену? Ведь ты сам ее и убил.

— Фу, дура. Хватит мрачных фантазий, Танька: мы ведь работаем вместе. Знаешь, о чем наш балет?

— Обо мне, — наивно провозгласила она.

— Что ты! — испугался я. — Балет о красоте. Вот он, твой зоомагазин. Зайдешь?

— Идем вместе. Балет о моей красоте.

— О твоей, о твоей, — поддакнул я. — О Красоте. О силе женской красоты.

— Ты не можешь этого понимать; ты никогда не любил. Эвридика — единственная, и она — это я. Смотри, — мы уже обошли магазин, — достойного зверя нет. Мне надо такого, чтоб защищал от мужа.

— От мужа и от себя самой, — поправил я. — Хорошо! Тогда почему не танцуешь этой единственности? Почему ты оставляешь ее в жизни? Тебя соблазняет роль Эвридики в жизни, а ты перенес этот соблазн на сцену. Колька дал тебе денег?

— Да! Жди! Этот жмот!..

— Ты любишь свои мечты, — я все продолжал подготовку к близкой репетиции, — а ты люби свою работу. Слушай, я устал. Пойдем в театр. Лучше б ты пришла на репетицию с кордебалетом. Я добивался от них глубины перспективы: по моей идее, они застывают, оттеняя величие твоей смерти. Смерти на сцене! После такой смерти так хочется жить.

— Не скажи. Умирать мне интересно не только на сцене, но еще больше хочется того, что люблю; я люблю этот город — и иду по нему, я люблю тебя — и я в твоих руках. А мужа и не люблю, и не хочу видеть. Устала и от него, и от репетиций. Сашка, если ты хоть немного меня любишь,

дай денег. Мне надо дозу; это всего сто рублей. Ты хочешь, чтоб я умерла прямо здесь?

— Ты дружила с Таней?

— Как-то вместе были в кафешке.

— Она мне выдала фразу, от которой я так и не могу опомниться: "Ты сначала убиваешь женщин, а потом их любишь".

— Спьяну она еще и не то могла сказать. Лет пять назад она мне всерьез говорила, что ты гомик. Не бери в голову. Ты сам подпустил ее слишком близко!

— Все верно, но я чувствую себя виновным.

— Глупо, Сашка! Ты выжал из нее все, что можно, и даже куда больше. Да что она без тебя? Она танцевала в трех твоих балетах. Пусть, если не дура, молится на тебя, как на бога. Я б на ее месте вылечилась и не дурила голову своим благодетелям.

— Ну, ты сурова! Тебе двадцать, ей тридцать. Всего десять лет, а вы из разных эпох, из разных цивилизаций.

— Она не любила искусство, если себя не берегла.

Прошло три недели с похорон Тани Свиридовой, я потихоньку остываю — и опять могу говорить с тобой о страшном. Вернее, о главном. Горячее лето уходит, и первый осенний холод обнимает меня нежно-нежно. Как ты, Леночка. Наконец-то пошли затяжные дожди, а в них я совершенно нахожу себя. Помнишь Наташу Симонову? Вовсю репетирую с ней. Она с первой репетиции вошла в строгие линии будущего спектакля, так что мой страх за премьеру прошел.

Кто, ты думаешь, помог мне понять происшедшее? Именно она. Оказывается, Наташа видела сцену между Свиридовыми, случившуюся до моего похода с Таней в зоомагазин. Там было объяснение по-крупному; теперь припоминаю, у Тани светился фонарь под глазом. Видно, Колька решил, у нас роман. И верно! Мы несколько раз согрешили, но, так сказать, в рабочем порядке. Тут до романа еще ой-е-ее сколько, но моего бывшего друга подхлестнули ее слова:

— Я не люблю тебя. Не люблю, не люблю, не люблю.

— Дура! Ты знаешь, сколько у этого Пинского, — этак-то обо мне! — любовей было?

Они играли в разные игры: Таня — в семейную жизнь, а Колька — в любовь. Он не знал, что играет; он верил, что любит на самом деле. Верил, потому что очень хотел верить. Таня глупо, с размаха, отбросила все правила — и верить стало не во что. Вот он фонарь ей и поставил. Не как

мой друг, не как администратор средней руки, а просто как муж. Вернее, как мужик. Наташа своим желанием работать пролила свет на все эти бурные страсти. Мы вкальвали — и вдруг я увидел Таню в зеркалах. Эти целые плоскости тренировочных зеркал обычно корректны до злости. Она умерла от моего, так и не примирилась с тем, что любил ее только на репетиции, в твоём образе.

— Ты видел Колю? — спросила Наташа в перерыве. Она так хорошо работала, так чудесно преображалась, что я осторожно ее поцеловал. Не этот ли поцелуй помог нам разоткровенничаться?

— Он запил ужасно. Две недели не появлялся в театре. Сходи к нему, Сашка.

— Не могу. Он винит меня в смерти жены.

— С чего ты взял?

— Я это чувствую.

— Это тебя Танька так накрутила. Я ее знаю!

— Что ты знаешь?

— Что на репетиции приходила надушенная. Что соблазняла вас, Александр Николаевич. Она не любила вкальвать. Это же все знают. Отдаться, конечно, проще, чем репетировать.

— Да, — серьезно согласился я. — Она на самом деле боялась выглядеть труженицей. Для меня нормально, что в балете полно женщин, но еще больше творческих кляч. Она не хотела быть клячей!

— Будто кто-то хочет! Я вот не боюсь работы.

— Тебе не страшно не понравиться?

— Нисколько. Сейчас и самая красивая женщина должна убеждать еще чем-то помимо красоты. Теперь красота кажется только уловкой технических возможностей: грохнула на свою морду косметики на сотню долларов — вот и красива.

— Уже и женщины так думают! Наташка, это правильно, но грубо.

— Не выдумывай. Я хочу сказать другое. Таня искала в тебе не любовь, а равновесие. И не нашла. Тут нет твоей вины. Так что, тебя если что и мучает, так только твои собственные комплексы. Я б не стала тебе это доказывать, если б не любила тебя. Ее убило время, а не ты. Я и Кольке это доказываю. Ее выперли из Мариинки, а тут она не нашла, за кого зацепиться.

— А ты? Если ты понимала все это, ты не пробовала ее спасти?

— Саша, а кто спасет меня? Моя жизнь что — рай? рай без конца? И потом, я не сближаюсь со столь эксцентричными особами.

— В чем ее эксцентричность, по-твоему?

— Она путала жизнь и работу.

— А с тобой этого не случилось?

— Я слишком ценю работу, чтобы путать ее с жизнью.

Прошло еще полгода. Работа с Наташей Симоновой кончилась, и она стала меня избегать, все ж она зашла в марте, но так неожиданно, что я задохнулся от радости.

— Привет, Сашик. Шла мимо, дай, думаю, зайду.

— Заходи. Я люблю такие порывы, ты знаешь. Мы можем поужинать. Я сварил голову осетрины.

— Что мне голову! Ты мне самой осетрины давай! — шутливо прикрикнула она.

— Я готовлю суп из головы, а саму осетрину ем только по праздникам.

Спасибо, что зашла.

— Ужин с Эвридикой. Так ведь?

— Да. Ты пару раз еще станцуеть ее летом: едем в Италию.

— Коля мне уже говорил. Он много мне рассказывает о Лене.

— Он учился в одном классе с моей женой.

— Не только он. Панину помнишь? Она ведь учила всех нас.

— Светлану Викторовну я хорошо знаю. На днях она придет ко мне в гости.

— Даже так?

— Да. Мне скоро работать в Японии.

— Ты и эту японку соблазнишь, как меня, как всех твоих Эвридик? Неужели ты забыл меня, Саша? Отработали вместе — и забыл?

— Нет.

— Почему не звонишь?

— Орфеи не звонят, — пошутил я.

— А серьезно?

— Я тебя помню и люблю, Наташа. Я не оставляю Эвридик. Кого угодно, но не Эвридик. Никогда не поверю, что Лена и Таня умерли. Никогда!

— Отстань. Дай поужинать.

— Немножко. Совсем немножко. Мне нравится тебя целовать. Я ведь Орфей: тот, кто живет в других, кто вдыхает в них жизнь.

— Ты уже какой раз раздеваешь меня за ужином! Это что, твой стиль?

— Прости. Все, что я делаю, я делаю в профессии. Я вдруг чую запах пота, репетиции — и это меня возбуждает. Знаешь, когда особенно хочу?

Когда на спектакле захожу в закулисный балетный муравейник, а там кшшение потных тел. Я и сдохну на репетиции.

— Саша, я не Эвридика! Я просто Наташа и хочу пожрать. Потом займемся любовью. Что тебе загорелось?

— Отдайся — и все! — я настаивал шутя.

— То ты меня распинал на грязном полу, то щупал в коридорах. И сейчас мы что-то репетируем. Хотя бы скажи, что.

— Вечность, Наташенька. Вечность!

— Хорошо, я поверила. Дай хотя бы раздеться. И что ты меня доводишь до репетиционного состояния? Я не хочу работать. Только не слишком быстро. Не мни платье. В детстве мама учила меня есть мороженое понемножку. Не ложками, а ложечками. Так что не торопись: у нас в запасе целая вечность.

Представь себе, Леночка, я только что со свадьбы: Наташа Симонова стала "госпожой" Свиридовой, моя последняя Эвридика вышла замуж за моего друга. Ты не представляешь, как это приятно, когда кругом одни Эвридики, твои рукотворные образы во плоти. Неужели живу в мифе?! Ишь, какой хитрый. Приятно расплакаться от этой мысли, вернее, от этой веры.

Выходит, Орфей, эта увесистая мифологема, прицеплена к моему хвосту и весело погромыхивает. Миф целиком определяет жизнь вокруг меня; он сводит и разводит с людьми, он в моих репетициях и в моей крови. Это живая бездна — и вхожу в нее, и живу в ней, и шаловливо из нее выглядываю; так приятно, что ни день, спускаться в ад за Эвридикой мне, мирному балетмейстеру.

Иной коллекционирует любовниц, а я Эвридик. После того, как ты сгорела в автомобиле, а Таня умерла во сне, я стал суеверным. Танечка и Леночка, бедные мои! Вы умерли на взлете с ясным сознанием несвершившихся надежд. Разве я хотел вашей смерти? Как бы мог хотеть такое? Я ли вам не советовал безумствовать только понемножку и только на сцене? Но все рухнуло в жизнь — и я сам едва выбрался из-под обломков.

Мои Эвридики! Вы все-таки красивы, остроредерные, балетные твари, мои любимые творческие клячи. Строжусь на вас, гоняю немилосердно, а люблю. Как хорошо обживать миф, наполнять его своим дыханием, своим потом! Все мы — одна дружная семейка Орфеев и Эвридик. Пора, наконец, понять женщин: это Эвридики. Им подавай легенду, а на меньшее они не согласны. Я вам говорю: дайте мне любую балетунью — и я вытряхну из нее Эвридику!

Тебе завтра пятьдесят один, Леночка. За последний год создал тебе вдогонку пару Эвридик: одну нашу питерскую, а другую в Японии. Надо б встать, включить свет, а валяюсь на диване с мыслями о тебе. Сегодня тебя особенно много в нашей квартирке. Смотри, как хорошо я побелил потолок. Мои Эвридики танцуют этакий уютный, хорошо обставленный ад, пока не заявляется Орфей и не уводит их в мир, где повышаются цены на бензин. Понятно, что Эвридики возвращаются сюда, в теплое лоно легенды. Когда умерла Таня, чуть было не рухнул в ужас. Ей-богу, если б не мой роман с Наташей, не выкарабкался б.

Кто-то звонит. Да это ж Светлана Викторовна пришла в гости. Ну, хоть сейчас наболтаемся вволю.

Только не умирайте, Эвридики! Выходите замуж, рожайте, покупайте автомобили и дачи, но не умирайте. Не умирайте.



## Символична ли кастрация современников?

О твоей статье не могу не заметить, что комплекс кастрации присущ скорее девятнадцатому веку, сегодня же, накануне завершения идиотической мужской цивилизации, дело обстоит с точностью до наоборот. Мужчины — явно или подсознательно — завидуют женщинам, поскольку простой, как мычание, пенис и в подметки не годится вечнотаинственной вагине, источнику всего, символу вселенной... И так далее.

Рафаэль ЛЕВЧИН

И пишущий, и читающий объединены отношением к слову **Пенис** и слову **Фаллос**. Поэтому сразу определимся в главном. Договоримся, что эти слова мы понимаем одинаково: **Пенис** это то, что есть у мальчиков и отсутствует у девочек. Это то, из чего возникает зависть у девочки, потому что она подсознательно предполагает, что ее обманули и недодали изначально. Многие девочки, не справившиеся в этой изначальной проблеме, даже, зачастую, не осознав ее как проблему и как свою собственную, — превращаются в страдающих конфликтных дам, таких много вокруг, даже не оглядывайтесь, каждая: ладно, скажу вторая, хоть так и не думаю. То есть, женщина предположительно невротик по первому пункту — отродясь.

И мальчик по этому пункту невротик, он тоже не всегда осознает проблему пениса как существующую и свою. Мальчик предполагает — у девочки этого нет, значит, отобрали. Отбирают, когда наказывают. Значит, и у меня могут — если даже у мамы, которая защищает и любит — отобрали! Мальчику — страшно.

Просто-то как, отродясь — девочка — хомо-завистливый, мальчик — хомо-страшащийся. А по-простому, женщины — стервы завидующие, а мужчины — трусы и, как следствие, предатели. И все невротики! Претензии, пожалуйста, не ко мне, я тут ни при чем, кроме как при Фрейде. Вот к этому дипломированному популярному идиоту я Вас и переадресовываю. Идиот он не по природе своей, не оскорбляйтесь за Фрейда, Идиот он с большой буквы, по Федору Михайловичу. Об этом чуть позже. А пока, вопрос к заинтересованным: мы хотим, чтобы наши дети не были неврастениками? Уже зная, что невротическое состояние — сигнал: в жизни что-то необходимо изменить. Если не изме-